

Глеб Иванович Успенский

Поездки к переселенцам



Глеб Успенский

Поездки к переселенцам

«Public Domain»

1886

Успенский Г. И.

Поездки к переселенцам / Г. И. Успенский — «Public Domain», 1886

«Цикл очерков «Поездки к переселенцам» посвящен вопросам переселенческого движения русских крестьян, охватившего с начала 1880-х годов особенно значительные массы населения средних областей России. Эта тема давно занимала Успенского, но только летом 1888 года ему удалось совершить поездку в Сибирь, куда главным образом переселялись крестьяне. Писатель с большой ответственностью отнесся к выполнению своей задачи и рассматривал поездку в Сибирь как важное общественное поручение, которое он обязан был выполнить в качестве летописца страданий русского крестьянства...»

Содержание

1. От Казани до Томска и обратно. 1888 г	5
I. Раздумье	5
II. По Каме до Перми	7
III. Первая встреча	9
IV. От Перми до Тюмени	13
V. Переселенческое дело в Тюмени	16
VI. В переселенческих бараках	19
VII. Река-пустыня. – Переселенцы в Томске	25
VIII. Поездка к новоселам	30
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Глеб Иванович Успенский

Поездки к переселенцам

1. От Казани до Томска и обратно. 1888 г

I. Раздумье

Решив весною 1888 года ехать в Западную Сибирь, с исключительною целью видеть положение переселенцев, я, однакоже, крепко призадумался о плодотворности этой поездки, когда наконец, как говорится, «дошло до дела», то есть когда я уже ехал по Волге, приближаясь к Казани. Предстояли мне впечатления, без сомнения не облегчающие сознания, уже крепко утомленного сутолокою только что миновавшего петербургского зимнего «сезона», и вследствие этого, вопреки существенным целям поездки, утомленное сознание стало вопиять о крайней необходимости отдохновения. И чем ближе подходил пароход к Казани, тем с большею настойчивостию вопияло оно о предпочтении тепла и блеска южной природы суровым картинам севера, которые обрисовывались в моем воображении. Всякий раз, когда я смотрел на отваливающий от пристани пароход, и знал при этом, что он идет на юг, в Саратов, Царицын, Астрахань, мне ясно виделось, что пароход этот весь веселый, от веселого флага до спрятавшегося в воде колеса. Все в нем играет, он не идет, а летит, как ласточка, и свистки его поют, как соловьи. А когда от той же пристани отходил пароход в Каму, в Пермь, и я знал это, мне тотчас же представлялось, что пароход не только не бежит и не летит, а упирается, что навстречу ему бьет холодный ветер с Ледовитого океана, что свистки его воют, а не поют, как соловьи.

Не говоря уже о том, что страна, в которую я ехал, носит наименование «Сибири», совершенно выделяющее ее из ряда обыкновенных, общежительных на белом свете стран, вспоминались мне и другие, крупные и мелкие черты внешних и внутренних ее оригинальностей, и все они (или по крайней мере то, что заставляла вспоминать заранее предубежденная мысль) не влекли к этой суровой и таинственной, как мне казалось, стороне. То ли дело поехать бы на юг, на Кавказ, в донские степи, в горы! Все там как бы рвется к солнцу, к небу и само хочет блистать, как солнце. Всадник взбирается на коне выше облака, а облако само идет на землю. К небу и выше неба несутся горы! По горам тянутся к солнцу леса, тянет из них солнце всякий цвет и плод, фрукт, всякое растение, то есть всякое богатство юга, вплоть до веселого вина, в котором также спрятался солнечный луч. Роскошествует природа, но и всякая тварь также желает франтить, не говоря о человеке, франтовство которого выше всякого описания. Франтят здесь птицы по лесам, и рыбы в реках и в морях, да и речонка не пробежит прилично, а гремит, бурлит, шумит и вообще ведет себя необузданно. Нет здесь уголка, который не был бы уж олицетворен и увековечен стихом русского и нерусского поэта.

Бывал я в этих веселых местах, и не так весело смотрел на них в прежнее время; но теперь, когда мне приходилось ехать в гости к Ледовитому океану, юг рисовался мне в очаровательных образах. Но ведь и там, куда я еду, тоже есть горы, и реки, и леса, но какие они? В каком-то беллетристическом произведении я читал описание этих гор и нашел, что они не гордыбачат перед солнцем и небом: «Точно стадо гигантских животных, покрытых частой и жесткой щетиной (так было изображено автором произведения), молча и недвижно лежат на огромном пространстве, как бы в дремоте». Щетина! Что же тут приятного? Да притом, казалось мне, не к небу, не к солнцу рвется там природа и человек, и не на солнце рождается и живет там всякое богатство, как оно рождается и живет на юге, где даже керосин, и тот норовит сам выскочить из-под земли и ударить вверх, к небу, а живут они и рождаются в самых глубоких, тем-

ных недрах земли, в соседстве с трупами мамонтов, ихтиозавров и других допотопных представителей «допотопного Купона». Человек не только не перескакивает здесь через облака и не ездит выше черной тучи, но лезет под землю, в темную глубину самой непроходимой и непроницаемой тьмы, копошится в ледяной грязи, в ледяной воде, добывает богатства под ударами нагайки, под угрозой пули, под приманкой сивухи.

Страшна казалась мне эта темная, глухая, бесконечная тайга, но еще страшней было знать, что в этой-то бесконечной тайге, может, *бежит* человек. Страшно то, что человеку надобно *бежать*, обрывая в чаще леса свое платье, рубаху, тело, бежать без оглядки, «не пимши, не емши». Это бегство в необозримом пространстве лесной глуши и пустыне, на десятки верст в окружности не имеющей признаков живой человеческой оседлости, тем еще более ужасно, что беглец бежит от какого-то другого человека, у которого на плече заряженное ружье. Ужасна фигура беглеца, но ужасна и фигура того человека, который найдет этого беглеца в тайге, «учует» его след, как собака, за целые версты, настигнет, вобьет пулю в спину и отымет украденное золото. Золото! Вот оно в руках этого оборванного, опоенного, развращенного беглеца, сто раз на своем веку случайно избежавшего смерти от голода, от пьянства, от каторжного труда. Он напал на самородные россыпи и прямо вытаскивает из земли куски, в которых заключается состояние целых деревень. Что же он делает? Меняет это золото в конторе на всякие лакомства, варит в котле чай из шести фунтов чая, валит туда же в котел голову сахара, льет вино, жрет все это, распутничает, покупает по четыре новых азяма в день, которые тут же топчет в грязи, в пьяном виде дерется, убивает и опять бежит по тайге, бежит, как дикий, голодный, больной зверь, и в криках, в столах, оглашающих безжизненную лесную глушь, умирает, лежит мертвым, гниет, и в конце концов в мертвой тишине ночи мертвой тайги слышно хрустение человеческих костей, – лакомится какая-то хищная тварь мясом человеческим.

Не подлежит никакому сомнению, что эти исключительно мрачные картины вспоминались мне из прочитанного о Сибири только под влиянием соблазна, при виде убегающих от казанской пристани пароходов, наполненных счастливыми, стремящимися на юг. Все, что напоминало только мрачные, свойственные исключительно Сибири особенности, все стало припоминаться одно за другим, и, наконец, *Сибирь* обрисовалась как страна, в которой живет исключительно *виноватая Россия*, а раз овладела эта тяжкая мысль и, не сдерживаясь, начала определять разновидности всех русских *виноватых людей*, стало вспоминаться все пережитое, передуманное, перечувствованное. Все лица человеческие, которые возникали в памяти, все они, казалось, были заключены в какой-то заколдованный круг безысходного осуждения. За что? Почему? угнетало и мучило мысль бесплодной мукой и еще сильнее возбуждало желание миновать эту трудную, ни в чём не облегчающую поездку. И я бы долго не додумался до какого-нибудь решения, если бы меня не выручил «добрый человек».

II. По Каме до Перми

Выручил меня, по обыкновению, «добрый человек», наш русский крестьянин. Пошел я по пристани и вижу в отворенные ворота сарая, что там, в глубине его, масса простого народа, – мужики, бабы, дети, старики и старухи. Оказалось, что это переселенцы из Курской губернии. Одни едут в Омск, другие в Томск, а из этих пунктов – на участки уже отведенные.

Незначительного разговора с этими людьми было вполне достаточно, чтобы образумиться, прийти в себя, вспомнить цель давно решенной поездки и понять ее как дело, которого нельзя покинуть для «отдохновения».

Как только я образумился и на душе стало покойнее, все окружающее начало спокойно восприниматься в том виде и в той сущности, в каких оно доступно глазу, не омраченному темными мыслями. Прежде всего Кама совершенно утратила все свои мрачные черты, преждевременно изобретенные моим расстроенным воображением. В начале, при впадении в Волгу, она, правда, ничем еще не обнаруживает своих характерных особенностей: низменные, едва не в уровень с поверхностью воды, песчаные берега, зеленеющие чахлам кустарником, – и вообще ничего еще нет достойного внимания. Непривлекательны также расположенные ближе к устью Камы деревни и городки; почерневшая солома, завалившиеся плетни в деревнях и какие-то серые кучи разбросанных построек в городках, ничем все это не лучше обыкновенного русского захолустья и поэтому не останавливает внимания. Но чем дальше, тем все больше и больше вырисовываются типические черты как самой реки, так и ее береговой жизни.

Широким и глубоким, сильным и спокойным потоком течет эта река в крепких, прочно ограждающих неизменность течения реки берегах. Здесь даже левый берег несравненно выше и несравненно крепче держится на своем месте, чем левый берег Волги; благодаря его чрезмерной низменности бедная Волга-матушка измучилась в поисках своей прямой дороги. Низменный, песчаный, заливаемый весной обильными водами Волги берег этот награждает ее горами песка, мусора и корья, нанося поперек ее течения целые горы препятствий. Какая-нибудь затонувшая баржа, расшива – весьма достаточная причина для того, чтобы спадающие с песчаной низменности воды натащили на это препятствие груды песка и заставили бы широкое течение реки разбиться на два нешироких и мелких рукава. А на юге, от Царицына до Астрахани, бедная река отбивается от этих несметных песчаных туч, несущихся на нее и справа и слева десятками своих течений, отмахивается от них всеми, так сказать, пальцами обеих рук и окончательно изнемогает, добравшись, наконец, до глубокого моря.

Не так поступают с Камой ее верные стражи, крепкие, твердо знающие «свое дело» берега. И справа и слева берега эти высоки (с правой стороны даже иногда очень высоки), и не песчаны и бледны, как на милой, измученной Волге, а красноваты, иногда даже темно-красны, что говорит о массах железных руд, дающих этим берегам особенности цвета и твердости. Твердые, крепкие берега гладко и правильно отшлифованы неизменным в долгие годы течением Камы, иногда поражают своей тонкой отделкой, то есть удивительной правильностью линий, проложенных по красной почве резцом твердой, не менявшей своего направления струи. Красноватые берега холмисты, мягко волнообразны, а растительность, покрывающая их, так же радуется взгляд некоторыми особенностями. Какая-то отчетливость, тщательность в обрисовке как самого растения, так и его цвета невольно почему-то напоминают произведения «добросовестнейших», трудолюбивейших художников, тщательно старающихся изобразить на картине все, что надо, непременно в самом точном виде, в самом подлинном цвете. Иногда ведь и белое стекло может казаться золотым от лучей заходящего солнца, а синий пруд делается от тех же лучей красным. Но добросовестнейший и честнейший рисовальщик, любящий только «правду», напишет солнце, какое оно есть по сущей правде, и воду, какова она в действительности, и дерево в том цвете, какой ему свойственен. Благодаря хорошей погоде берега Камы про-

изводили впечатление именно этой тщательной резкости в цветах и очертаниях покрывающей берега растительности; красный обрез берега, неправильной линией своей вершины соприкасающийся с холмистой и волнообразной поверхностью удаляющегося от берега пространства, самым резким образом отделяется от этого пространства своим цветом. Берег густо красен, а кайма его вершины бледнозеленая, и этим бледнозеленым цветом окрашена на далекое пространство волнообразная даль берега.

Только что глаз запечатлел эти два, как ножом отрезанные друг от друга, цвета – красный и бледнозеленый, как на этом бледнозеленом фоне с величайшей тщательностью очертаний вырисовывается черная ель, – то маленькая и тонкая, то высокая и стройная, как минарет, то темная-претемная, как кипарис. Сплошных еловых лесов я что-то не заметил на Каме; сколько я мог видеть (тогда, когда, конечно, смотрел, а этого ведь нельзя было делать во весь переезд непрерывно), ели – это какие-то странники, прохожие, большими толпами, но один за одним, пробирающиеся куда-то, и всегда разных лет и возраста; маленькая плетется по бледно-зеленому полю, а за ней большая, а за большой опять подросток, а за подростком старый-пре-старый старик. То они плетутся, идут по чисту полю, то, как переселенцы, группами селятся в чужих сосновых лесах. И тоже никогда они не растут одна под одну, а все по своему «карактеру»: одна маленькая, другая большая, третья поменьше. И как они хороши, когда одинокими прохожими или небольшими колониями протянутся по вершинам возвышенностей. На чистом бледном небе, особенно вечером и особенно при полной луне, ясно очерчиваются тогда силуэты многолюдных городов с высокими церквями, колокольнями, башнями, минаретами, зубчатыми стенами. Иногда вполне веришь и видишь, что пароход идет прямо к какому-то большому городу, а потом и оказывается, что это все сделали прихотливые ели.

Вместе с особенностями природы понемногу стали видимы и особенности прикамского побережного житья-бытья. За Чистополем, этим городком, дающим весьма немногосложное впечатление обыкновенного российского захолустья, пошли совершенно необыкновенные на Руси многолюдные и зажиточные деревни. Соломенная крыша окончательно исчезла. Просторные улицы, просторные постройки, все это совершенно необычно для жителя русских внутренних губерний, знающего, что такое деревня. И таких просторно устроившихся деревень и широко раскинувшихся сел, нередко с двумя и тремя церквями, встречается здесь, в течение часа пароходного пути, не один раз. То, что пароход не останавливается около этих сел и деревень, доказывает, что пароходу еще нечего с ними делать, что села и деревни не принимали еще и не отпускали от себя никакого продажного продукта, и что, следовательно, они действительно села и деревни по преимуществу земледельческие.

Встречаются по Каме, правда, и такие села и деревни, которые имеют связи с разными, главным образом железными, заводами, и тогда около них есть пристань, а с пристани садится на пароход тот самый «пинжак» с рваными локтями и рваным козырьком, который доказывает, что Купон уже «проник» и произвел все то, что ему произвести подобает.

Приятно было смотреть и на эти просторные деревни, и на эти своеобразные берега, и на самую многоводную Каму; но все смотреть да смотреть и не сказать ни с кем живого слова, наконец, станет и скудненько. И, конечно, наилучшие собеседники – переселенцы.

III. Первая встреча

Переселенцы помещались на палубе в третьем классе; на любимовских пароходах¹ палуба закрыта и сверху и с боков, так что проезжающие защищены от дождя и ветра. Но жара от машины и от кухонь сильно портит воздух в помещении третьего класса.

На этот раз на пароходе ехало две партии переселенцев, обе из Курской губернии, но из разных уездов, причем одна партия, в четыре семьи, были малороссы из южных уездов Курской губернии, а другая, из шести семей, великороссы из северных уездов губернии. Малороссы ехали в Красноярский округ, где уже имели своих земляков-поселенцев, и шли на готовую землю. Великорусские переселенцы ехали в Томский округ, где тоже им уже были отведены участки, и даже нумера участков обозначены (14 и 25) в проходном свидетельстве. Малороссы-переселенцы были одеты опрятнее наших, ели аккуратнее и в определенное время, целыми семьями, в кружок, и вообще во всех их поступках было гораздо больше обдуманности и сообразительности, чем у черноземных великороссов, которых отличала какая-то бабья доброта, бабья распоясанность во всех отношениях и, к сожалению, весьма значительная нищета в одежде. Малороссы были все в сапогах, великороссы все в лаптях, в онучах, в самых дерюжных рубашках, штанах, сарафанах. Малороссы спали, всегда что-нибудь подстилая; наши валились прямо на пол, заплеванный подсолнухами, и только под ребят подстилали какие-то не совсем чистые дерюжные лоскутья. Бедность и несытость не подлежали никакому сомнению в курских переселенцах-великороссах, тогда как у малороссов, очевидно, была хоть и небольшая, но все-таки «копейка» где-то припрятана.

Но в этих, кой в чем непохожих друг на друга, партиях была одна вполне однородная для всех их черта: не столько бедность, нищета, трудность жизни в материальном отношении побуждала их к переселению, сколько явная *боязнь разрушить нравственные семейные связи*.

Все ехали семьями, в которых были старики, старухи, уже неспособные к работе, которые поэтому даже прямо будут бременем во время трудной поры устройства на новом месте.

Из разговоров, особенно с великорусскими переселенцами, ясно было видно, что боязнь разбрестись из «своего дома», уйти от отца, от матери, жить в чужих людях и страх при жизни исчезнуть друг для друга, что он-то и гнал эти семьи в далекие края, заставляя и старого и малого крепко прижиматься друг к дружке, жить «увместях», и если пропадать, так пропадать также «увместях».

Один из таких великороссов-переселенцев, распоясанный мужик, с распахнутой душой, все выкладывающий перед всяким встречным с первого слова, поразил меня именно обилием нежнейших чувств к своей семье. Конечно, и он говорил о нищете, о податях, о неурожаях, о крайней степени малоземелья и крайней высоте арендной платы, но разговор об этих материальных невзгодах, страшивших его главным образом с точки зрения неуплаты податей и недоимок и вообще провинности против начальства, очень часто прерывался самыми нежными словами именно об этих близких людях.

– Вон она, маменька-то старушка, сидит! Поехала ведь!

Радостно сияют при этом его «простенькие» глаза.

– Не останусь, до смерти не разлучусь с тобой, Михайло! Двух дочерей и со внучатами уже замужними оставила, простилась с ними навеки, а от меня не отстает! Вот она какова, маменька-то!

И эта радость чувствовать около себя такую горячую, вечную любовь, кажется, была единственной силой, которая давала ему возможность обольщать себя надеждой, что он на

¹ За проезд от Нижнего до Перми с переселенцев брали по 2 р. Кушанье переселенцы могли готовить на кухне матросов бесплатно.

новом месте справится и все уладит по-хорошему. Он *один* ехал на *новое* место со старухой матерью, женой и пятью человеками детей, мал мала меньше, и всякий раз, когда разговор касался практических вопросов и когда они очерчивались в весьма непривлекательных предчувствиях, он, видимо, старался ободриться, прихрабриться и для этого опять радостно говорил о маменьке, о жене, о ребятишках. То, что они неразлучны, любят друг друга, не покинут один другого, – в этом был источник его мечтаний об успехе.

Все эти семьи бедны и помяты работой, это видно с первого взгляда; но что все они семьи, любящие друг друга, как наши черноземные, или крепко сплоченные нравственными и материальными связями, как малороссы, в этом нет никакого сомнения. Один из малороссов-переселенцев ехал с женой, с тремя сыновьями, из которых двое были женаты, и с тремя внучатами. Сыновья его могли постоянно поддерживать его хозяйство и свои семьи отхожими промыслами. Каждый год за два летних месяца они трое приносили с Дону 150 руб., то есть все, что нужно на покрытие неминуемых платежей. Но стоило поговорить с отцом этой семьи побольше, чтобы несомненно убедиться, что его влечет на новые места не столько расчет, сколько забота о молодом поколении, которое начинает расти и множиться и тем осложняет семейные отношения. Старик живет заботой о своих близких, об отношениях мужей к женам, отцов к детям, блюдет их, не дает их в обиду, и участь всех их, до внука включительно, для него значит не меньше денежного заработка. Практичность, заметная в нем и не имеющая никакого сравнения с нежнейшею непрактичностью того великорусского мужика, о котором я сказал выше, она для него только средство не разрушить и не убавить многосложность семейных связей и обязанностей.

А что этот человек не разиня, не распахнутая душа – это верно. Распахнутая душа черноземного переселенца сразу отозвалась на мое желание видеть его «бумагу».

– Да с полным удовольствием! – И мужик с распахнутой душой тотчас вытащил ее из-за ворота. Там, на груди, в кожаном самодельном бумажнике, застегнутом на крупную солдатскую пуговицу и прицепленном на ту же тесемку, на которой висел медный крестик, – там была у него спрятана «бумага» и десятирублевая бумажка.

– Вот и деньги-то все тут! – разлюбезнейшим тоном проговорил он и вытащил запотевшую на груди бумажку. – Право, ей-богу!

– Как же ты доберешься до Томска-то?

– А эво-то что! – указывая рукою на берег, с развеселым лицом проговорил он.

– Что там такое?

– А хлеб-от! Видишь какой? сырой, зеленый, чуть белеть еще начинает... Ну, и в тех-то местах, в Томском-то округе, должно быть, он в той же поре. Авось, господь даст, подоспеем к жниву-то... Я да жена, всё двое! Поработаем!

Распахнутая настежь душа раскрыла все свои тайны в одну минуту; открыла и бумаги, и деньги, и планы на будущее, и все свои нежные сердечные чувства и привязанности.

Душа, сосредоточенная в себе, не распахнутая настежь, но живущая не менее многосложно, чем и распахнутая, вела себя со мною много осторожнее. Когда я спросил о тех местах, куда они идут и как об этом сказано в бумаге, чтоб посмотреть на карте (которая со мной была), то кто-то из сыновей старика малороссиянина, с которым я говорил, сказал мне:

– Вона в батька!

Тогда «батько» обернулся к сыну, сурово посмотрел на него из-под нависшего на лоб чуба и строго сказал:

– Нема ни якої бумаги в батька!

– Деж вона?

Батько помолчал и потом кратко ответил:

– Искури в цыгарки.

– Ну, – сказал я на это, – уж это неправда. На цыгарки ты ее не искурил, потому что тебе без нее нельзя идти. А просто ты не хочешь мне дать ее почитать.

– Та искулив же ж...

– Не искурил ты, а не хочешь!

Батько пожал плечом и, свесив голову с чубом, а руки опустив между расставленных колен, опять замолчал. Молчал и я.

– Та дай ему туя бумагу! – наконец сказал он недовольным тоном, не разгибаясь, а только обернув голову к своему сыну. – Не хай мене бог... коли в мене ни якої бумаги не було!

И сын тоже не сразу исполнил родительское приказание! Он сначала поглядел на меня, потом на отца, и потом уже не спеша вытащил из кармана жилета кошелек, а из кошелька какой-то крошечный сверток. Развернув этот сверток, он достал из него еще какую-то бумажку, исписанную и местами разорванную.

Это было простое письмо из Красноярска, от земляков, теперешних переселенцев-малороссиян, поселившихся там раньше. Замечательны эти письма «от земляков». Очевидно, пишут их не земляки, а строчит кто-то из *тамошних*, отлично набивших руку в писании таких писем. Все они (мне много приходилось их видеть впоследствии) написаны почти по одному и тому же образцу, и во всех них постоянно находятся одни и те же выражения и посулы насчет будущих благ. «Паши сколько хошь, коси сколько хошь, дров сколь угодно, руби без запрету, скота много, цены дешевые... Выбирайте двух человек, пушай придут осмотреть. Лучшей жизни не найтись!» Всё в одном и том же роде.

– Это не та бумага! – сказал я.

– Та нехай мене...

Я прервал упорного старика и завел речь о том, как ему жилось на родине и отчего он ушел. И вот тут он заговорил совершенно другим тоном; в нем сказалась такая пропасть юмора, что публика, слушавшая его рассказы, умирала со смеху.

Рассказывая, например, о потраве, за которую владелец брал огромные штрафы, он тут же и представил «в лицах», как эту потраву производит разыгравшийся жеребенок, который прибежал в поле за своей маткой. Оставить жеребенка дома нельзя, да и мать соскучится, а возьмешь его в поле, он обрадуется и начнет играть.

– Стоишь, – говорил он, – глядишь на жеребенка, а у самого только дух захватывает... Прыгнул раз, – на пять карбованцев! Прыгнул два, – на пятнадцать! завертел хвостом, повалился, болтнул всеми четырьмя копытами, – хватъ и все сто рублей на шее! Побегать за ним догонять, натопчешь на столько, что и всю жизнь не расплатиться!

Невозможно передать в моем пересказе ни по-русски, ни по-малороссийски виденного и слышанного: что это была за необычайно комическая картина! И таких сцен остроумный старик рассказал, а главное представил в лицах, множество. Пан, накладывающий штрафы за бродяжничество курицы (1 к.), определяющий до последней полушки размеры всяких убытков от заблудившейся свиньи, от цыпленка, разыскивающего свою мать-наседку, фигура этого пана была изображена поистине высокохудожественно. Мы уже давно отвыкли думать о том, что делается в этих темных углах, где живут какие-то темные паны, владельцы разных «отрезков». Остроумный старик всем нам напомнил, что эти маленькие тираны, с неизвестными фамилиями, нигде, ни в какой общественной деятельности ничем не обнаруживающие даже своего имени, и в то же время величайшие изобретатели всякого рода прижимок, – существуют на Руси в огромном количестве.

Когда какой-то из переселенцев-великороссов спросил старика-юмориста, за много ли денег продал он свою усадьбу, старик опять и сразу совершенно преобразился. Юмор пропал, и осталось опять то же выражение лица и та же манера разговора, как и в начале моей с ним беседы.

– Та ничего нема! – жалобным и недовольным тоном заговорил было он и принялся при помощи пальцев доказывать, что вырученные за усадьбу деньги разошлись все до одной копейки. Но ему не дали не только закончить этих расчетов, но даже и начать их объяснение.

Российские переселенцы громко и дружно подняли старика на смех:

– Ну уж, брат, врешь! Уж это врешь, брат!

– Врет! Не хочет говорить... У них, у хохлов, завсегда деньги есть! Это что!

– Та...

– Врешь! Врешь, старина!

– Та...

– Что? у него нет денег? – произнес какой-то приказчик, неожиданно появляясь среди толпы переселенцев. – У хохла-то нет? Врет, врет!

– И вестимо есть! у них завсегда есть! Не то, что у нашего брата.

– Есть у них! Есть... Хочешь я тебе покажу, сколько у тебя денег? – весьма развязно продолжал приказчик, что очень смутило старика. – А не хочешь, так прямо говори, а не утаивай. А то мы тебя свяжем, вытащим кису-то и сами пересчитаем? А?

Старик сильно омрачился, а зрители распахнули свои пасти в самом беззаботном смехе, умея и привыкнув еще «и не так» подшутить над человеком.

Этой шуткой, заставившей уйти из толпы шутников, закончилась первая встреча с переселенцами.

IV. От Перми до Тюмени

Пермь и переезд по Уральской горнозаводской дороге до Екатеринбурга прошли без особенно приметных впечатлений. Непомерная, совершенно неожиданная жара, начавшаяся еще, вопреки всем вероятностям, на Каме, где я с полной уверенностью ожидал всяких прелестей, свойственных близости Ледовитого океана, – окончательно доконала в Перми, и во всю дорогу до Тюмени, да и здесь, припекала без всякого милосердия. Все время жара стояла днем около сорока градусов, а часто и выше сорока, и размаивала до состояния постоянного полусна. Благодаря такой случайности (старожилы не запомнят таких жаров) ослабленные нервы отказывались воспринимать вообще какие бы то ни было впечатления. Раз только они, и то на самое короткое время, ощутили было некоторое тенденциозное беспокойство, но ощутили только потому, что затронуты были соображениями о весьма мрачных подозрениях.

Ехали на пароходе и потом по железной дороге какие-то, так сказать, «отдельные» от обыкновенной проезжающей публики личности. Что-то было в этих личностях «особенное», а главное таинственное, не говоря о разнообразии форменных костюмов, свидетельствовавших о принадлежности каждой из этих «отдельных личностей» к разным министерствам, – все они первое время усердно занимались чтением каких-то толстых книг, которые одним видом своим говорили, что в них напечатаны не стихи и не романы. Иной раз дунет ветер, – глядь, и выдует из книги огромнейшую таблицу или огромнейший чертеж или карту с явственно обозначенными «пунктами» (красненькими кружками), очевидно, означающими места, где зимуют разные сибирские раки и против которых «отдельные личности», очевидно, имеют какие-то тайные намерения. Глядя на эти потрясаемые ветром «таблицы», и карты, и чертежи, я, не знаю почему-то, вспоминал так часто встречающиеся в сибирской прессе слова: «Кажется, в будущем году нам, наконец, *улыбнется* такая-то реформа», «Неужели же нам никогда не *улыбнется* надежда на такую-то реформу?» Или: «надежда, *улыбнувшаяся* нам, увы!» Вспомнилось мне все это, и я с какой-то тревожной подозрительностью подумал обо всех этих «отдельных» личностях: «Уж не «улыбки» ли это, ожидаемые так долго, наконец, в образе человеческого, едут в Сибирь? Не опрометчиво ли поступали господа сибиряки, вопия о том, чтобы им «оттуда», наконец, улыбнулись? А как возьмут, да и станут в самом деле улыбаться без послабления? Что тогда?»

Однако, несмотря на полное расслабление и отупение от жары, иногда нельзя было кое-чего не видеть и не воспринять из впечатлений окружающего. Нельзя было не видеть этих гор, просторно расступающихся по обеим сторонам дороги, – гор, не теряющих впечатления этого простора даже в самой крайней дали горизонта, где они очерчиваются только туманными силуэтами, где они по светлому небу чертят непрерывную, неправильную линию вершин, мелко иззубренную все тою же островерхою елью.

Хорош и вполне типичен Урал на Чусовой: широкая долина, с широкими, свободными изгибами реки, обставленная не напирющими друг на друга и не тискающимися горами, впервые дышит на вас сибирским раздольем и простором; все, что вы видите кругом себя, эти долины, переходящие в горы, без всяких резкостей, медленными подъемами, как бы говорящими: «не к спеху!»; эти реки, широкими размахами своих изгибов доказывающие, что и они поступают здесь единственно только по своей охоте, что никто им здесь не указчик, и «потому, что хочу, то и делаю», и, наконец, эти горные хребты, разместившиеся друг от друга без всякого стеснения, как самодовольные хозяева всей этой шири и простора; все это, веющее простором, свободным своевољством и могучей, но смирной силой, – все это уже не наше, черноземное, а новое, здешнее, чисто сибирское и для нас необычное.

Есть, впрочем (особливо за Чусовой), и такие места, где сила природы выходит из пределов смирного настроения и невольно рождает какое-то жуткое ощущение. Есть за станцией

Чусовой такие места, когда горы идут близехонько с обеих сторон поезда, и тогда тайна их могущества невольно охватывает все существо как бы некоторою оторопью. В чем эта тайна жуткого ощущения? В этой ли могучей высоте или в дремучей растительности, плотно и тепло одевающей огромное тело горы снизу и доверху, – не знаю и не могу определить. Но знаю, что, взглянув на это могучее тело, плотно и тепло одетое густым мехом леса, невольно скажешь себе:

– Эко, силища-то какая!

И, глядя на эту силу, почему-то «пикнуть не смеешь», молчишь, притаив дыхание, и вздохнешь свободно только тогда, когда вагон уйдет в какую-нибудь искусственную выемку или на равнину, очень болотистую и непривлекательную.

За Екатеринбургом впечатления начинают принимать уже более определенный смысл, и притом довольно многосложный. Прежде всего значительно убавляются резкости горной природы; начинается наша, знакомая нам, россиянам, степь, поля, луга, а вместе с ними идут уже не заводы, не болотца с кучками мужиков-золотоискателей, а деревни, стада, крестьяне. Все это прямо наше, российское, но в то же время есть во всем этом что-то и новое, чего сразу решительно не поймешь и не сообразишь. Не говоря уже о просторе, о приволье, которыми веют на вас эти поля, луга и стада, не говоря о достатке, который виден в этих просторных постройках сел и деревень, где нет ни одной соломенной крыши, – чувствуется, что есть тут, во всем видимом, еще что-то неведомое для нас. Оно тоже почему-то веселит, поднимает в душе что-то радостное, и загорается ожидание чего-то необычного.

– Нет барского дома! – вдруг озаряет мысль молчаливо сказавшееся слово, и вся тайна настроения, и вся сущность непостижимой до сих пор «новизны» становится совершенно ясной и необычайно радостной.

Нет барского дома, но есть крестьянин, живущий на таком просторе, расплодивший там огромные стада, настроивший такие огромные, просторные деревни, есть человек, проживший на своем веку без малейшей прикосновенности к барскому дому: когда мы, обыватели Европейской России, видели такого крестьянина?

Настойчивое желание видеть «своими глазами» «такого русского мужика», не знавшего самого главного и самого важного, что пришлось знать и перетерпеть нашему великорусскому крестьянину, это желание, едва родившееся, тотчас же осложняется мыслями о многострадальной жизни именно «нашего», хорошо знакомого нам, мужика. «Как на грех», этот самый мужик теперь же, вместе с вами, в этом же поезде, мчится из России, бежит от всех уже достаточно «улыбнувшихся» ему улучшений. И как бежит! Вот в этих пяти вагонах его *везут* на поселение, за железными решетками, а в других пяти он *сам бежит* на это поселение, добровольно. Посмотрите, что за народ сидит и там и там. Это все один и тот же народ, с тою разницею, что один «бежит *от греха*», сам: один догадался убежать во-время *от греха*, а другой не выдержал, наскочил на грех, не избежал греха, и бежит уже за железной решеткой. Но грех-то и там и там один и тот же. Он заключается именно во всей этой истории великорусского крестьянина, о которой сибирский мужик не имеет понятия. Не имеет он понятия о барском доме, о «на конюшне», о бурмистре, о «барской барыне» или о «барском барине»; не орудовал над ним барин-вольтерьянец, не орудовал и не делал опытов барин-аракчеевец; не был он проигран в карты, пропит с цыганками, заложен и перезаложен; не был он дрессирован просвещенным агрономом, не был бит в морду Карлом Карловичем, не мечтал он о том, что «отберут землю», что земля божья, что вода божья, что леса божьи, и не разочаровывался во всем этом в такой убийственной степени, как наш, в конце концов доведенный до «греха», до бегства от него на край света или до пересылки, из-за него же, по этапу.

Ни при каких иных обстоятельствах «грех» нашей жизни не виден с такою поразительною ясностью, как именно здесь, на этом переселенческом пути из России в Сибирь.

«Последнее слово науки», пароход и вагон, мчат на «ковре-самолете» на поселение одинаково ни в чем не повинного и уже повинного в том-то преступника. Одна перевозка «виноватого» в течение двух-трех недель обойдется оставшимся на родине неплательщикам во сто раз дороже, чем то, что желал бы виноватый теперь мужик иметь на своей родине; там, на родине, он двадцать лет вопиял о *прирезке*, жаловался непрерывно в течение многих лет, что негде пасти скотину, что есть ему нечего, что платить нечем, и ни в чем не получил удовлетворения; в волостном правлении его «сажали», понуждали, злили. Злой он колотил жену, обиженная жена жаловалась в суд; суд опять наказывал мужика, мужик со зла пропивал все женино добро, разорялся, воровал сначала хомут, а потом лошадь, а потом и что-нибудь еще посолиднее. И вот таким путем, со ступеньки на ступеньку, он достиг, наконец, до вагона; европейская выдумка точно о нем только и думает: с кандалами на ногах, он теперь аккуратно получает завтрак, обед, ужин, чистое белье, баню, «вентиляцию».

В том же поезде и на том же сказочном «ковре-самолете», по полутысяче верст в сутки, мчится «от греха» и родной брат этого кандалника. Он бежит от того же самого греха, от которого и кандалник стал кандалником. У него тоже тотчас после того, как он претерпел тяготы крепостного права, оказалось так мало средств к труду, а стало быть, и к жизни, к удовлетворению своих и государственных потребностей, что он тогда же стал жаловаться «*по форме*», «на бумаге», и неусыпно, в течение двадцати пяти лет, ждал все той же прирезки. Когда его наказывали за недоимку, он не бил со зла жену и не пропивал со зла ее трудового добра, а прямо, и вместе с женой, продавал это добро и платил. Продавали они и лишнего теленка, лишнего цыпленка и платили; нарастали новые тяготы, новые недоимки, – не роптали, не протестовали они злом или буйством, а покорно разбредались всей семьей по кабальным местам, по фабрикам, заводам, забирались за заработком на Дон, на юг, куда только ноги могли донести. Десятилетние ребята их уже стояли за сохой, были наняты, законтрактованы. Растративши все свои силы, все свои достатки, надорвавши силы молодого поколения с самого раннего возраста и окончательно потерявши малейшую возможность к чему-нибудь приложить свои руки, они, наконец, и летят на ковре-самолете в неведомые им места.

Мчит их ковер-самолет, робких, испуганных неизвестностью, оборванных и изнуренных, в большинстве совершенно неимущих и в лучшем случае увозящих на ковре-самолете, кроме пяти ребятишек (всегда без шапок и сапог) да пяти пудов сухарей, много-много пуда два «имущества» на всю семью. Это положительно *все*, что осталось от всей «родословной» истории этих крестьянских семейств, вынесших на своих плечах могущество чьих-то других родословий: два мешка «имущества», пять пудов сухарей и пятеро ребят без шапок и без сапог, – вот результат пустопорожней суеты нашей внутренней жизни и нашей бездействующей совести.

Как же не дать огорченной всем этим мысли отдохнуть в мечтаниях о крестьянине, который ничего подобного не испытал?

V. Переселенческое дело в Тюмени

Переселенческая станция, конечно, была первым местом, которое я посетил по приезде в Тюмень. Да и во все короткое время пребывания в Тюмени мне невозможно было уделить даже и малую часть времени, чтобы познакомиться собственно с Тюменью. Не мог я, конечно, не заметить, как хорошо место, где расположен этот город, как удивительно хороши берега и самая река Тура; но не мог не пожалеть, что тюменский обыватель не сумел сберечь для себя этого великолепного изгиба высокого берега, хотя бы для своего отдохновения, для прогулки; ведь вид-то какой! Тюменский обыватель устроил с этим берегом совершенно неблагоприятные вещи; пройти по нем с одного конца до другого невозможно; можно видеть его только тогда, когда улица упрется в самый берег; а там, где она уперлась и где вы подумали, что, наконец, можете идти направо или налево по берегу, там, под углом к этому берегу, начинается новая улица, вправо или влево, застроенная домами, за которыми опять не видно берега. Кроме сожаления о пропаже этого чудного вида на простор долины за р. Турой, пожалел я и о самой Туре.

– Что это, как будто чем-то пахнет? – спросил я сторожа в купальне.

– Это еще слава богу! Сегодня воскресенье, заводы не работают; а как в будни, да пустят они свою грязь, так чистодохнуть невозможно!

Как раз против купален расположились кожевенные заводы, специальное дело Тюмени. При более подробном разговоре об этом деле оказывается, что «ничего невозможно поделаться», ни купальню перенести, ни заводов.

Молва гласит, что об этом идет уже давно речь и толки, но все «ничего невозможно». Купальню даже и вовсе невозможно перенести ни выше, ни ниже: выше будет далеко, а ниже – начинается уже настоящий кожевенный смрад. Таким образом, и место хорошо, и вид великолепный, и река «лучше не надо», а купаться нельзя, потому что можно, во-первых, заболеть какой-нибудь кожной болезнью, а во-вторых, даже и задохнуться.

Но что действительно хорошо в Тюмени, это, во-первых, все, что делается по переселенческому делу, и, во-вторых, все, что касается удобств, связанных с передвижением и перевозкой по Тоболу и Оби. Пароходная набережная превосходна: снабжена всеми удобствами для загрузки и выгрузки товаров, для рабочего и проезжающего, подъездные пути удобны, вымощены, словом, все сделано вполне хорошо. Для проезжающих, кроме всех этих удобств, на пристани гг. Игнатова и Курбатова устроены даровые помещения, номера и общие комнаты, где проезжий может жить, в ожидании парохода, бесплатно. Этого нигде я не встречал и не видал.

Но опять-таки повторяю, что самое лучшее и самое важное, что только есть в Тюмени, это именно «переселенческий пункт». Все, что касается этого сложного дела, все поставлено здесь хорошо, правильно, добросовестно и дельно. Конечно, все это могло бы быть сделано и еще лучше, и желательно бы было, чтобы количество средств, расходуемых как частным переселенческим Обществом (которому принадлежит постройка и содержание переселенческих барачных), так и размеры суммы, расходуемой на помощь переселенцам, могли бы быть увеличены, и притом увеличены значительно. Это даже положительно необходимо для того, чтобы дело, поставленное так хорошо и добросовестно, могло, при возрастании переселенческого движения, сохранить возможность не ослаблять, за недостатком средств, своей теперешней плодотворной деятельности. Средства необходимы. Но и то, что делается теперь на те средства, какие есть, – все это делается хорошо, добросовестно, а главное вполне по-человечески, без малейшей тени благотворительной фальши, и тем менее без канцелярщины и пустой формальности. Здесь-то именно и подобает быть пределу всяким пустопорожним формальностям и всяким фальшивым сочувствиям «народу»; этот народ потому-то и попал на ковче-самолете в Тюмень,

на переселенческую или арестантскую баржу, что над ним уже был полностью проделан опыт фальшивого сочувствия на словах и формального решения его судеб на бумаге. Вся бумажная и сочувственная народу фальшь завершила уже над ним свои операции. С этого момента надо, волей-неволей, начинать относиться к человеку просто по-человечески. Острожника уже драли там, здесь надо ходить за ним, как за больным, вентилировать в его помещении воздух; надобно поить его лекарством, принимать участие в оставленной им на родине семье, писать ему письма, читать полученные им письма, думать о месте, где он будет жить, что будет есть и пить, – то есть делать именно то самое, что и надобно было бы делать там, «на самом месте-то преступления».

Человеческое внимание, обязательное к острожнику, к убийце и каторжнику, тем более делается неминуемым по отношению к переселенцу. Нельзя ему не помочь, нельзя его предоставить неизвестному, нельзя поставить его в положение человека, который может пропасть, умереть с голоду. И я с великим удовольствием могу сказать, что собственными моими глазами видел, что отношения людей, заведующих таким большим народным делом, вполне соответствуют ему. Дело делается по-человечески, то есть именно так, как оно и должно бы было делаться также и там, в глубине России.

Вот, например, письмо переселенца из нового, года два назад устроившегося поселка:

«Ваше высокоблагородие! Отпишите сделайте вашу божецкую милость в волость когда ж пришлют остатки по дому не имеем пропитания живем в бедствии и нищете. Бес капейки!»

Или еще лоскут бумаги!

«Свидетельство.

Я нижеподписавшийся крестьянин Казанской губернии (название уезда, волости, села), будучи в полном разорении, ибо почва и песчаные пространства, при неурожае, при всех моих силах моего многочисленного семейства, до такой нисчеты дошел, неимея пять лет урожая, весь продан за долги то прошу Вас, отец и благодетель христа ради неоставьте меня с пятью детьми без пропитания. С подлинным верно»... Все это нацарапано каким-то грамотеем, который выбрал, вероятно из «Сельского вестника», мудреные слова, но не смог выдержать научного изложения далее трех строк; после слов «с подлинным верно» идут уже совершенные каракули подлинного крестьянского письма: «безграмотство родителя моего удостоверяю сын его Федор».

Спрашивается, что такое эти каракули и лоскутья с формальной точки зрения? Это не прошения, не жалобы, ходу формального им нет; наконец, самая бумага, не гербовая, уже прекращает всякое их значение. Так это и было всегда там, «на местах преступлений». Так было и здесь, в Сибири, когда переселенческое дело не сделалось, наконец, предметом хоть сколько-нибудь серьезного внимания. Такого рода лоскутья и прежде не выбрасывались в мусор и не выметались вместе с ним вон из дома; нет, они вкладывались в огромный лист писчей бумаги, с разными буквами в верхнем углу; на бумаге, за номером 155 666, писалось отличным почерком, что, за непредставлением гербовых пошлин, лоскут сей возвращается «без последствий» в то самое место, откуда пришел; все это запечатывалось в пакет, отсылалось на почту, достигало волости, которая вызывала человека, живущего «бес капейки», за сто верст, и вручала ему собственный его лоскут обратно, «без всяких последствий».

В настоящее время дело стоит здесь совсем уж не так. Всякий такой лоскут есть действительная просьба, подлинная жалоба человека, нуждающегося в помощи, которому и надобно помочь на деле. Из этих двух примеров вы видите, что дело переселенческое не ограничивается только приютом на тюменской переселенческой станции. Необходимо хлопотать за человека,

живущего «бес капейки», там, «на месте преступления»; необходимо известить его о том, что о нем хлопчут, понудить и повторить просьбу, если замешкались с высылкою денег, оставшихся от продажи за долги дома. Все это необходимо сделать для заброшенного на чужбину человека, и все это делается.

Кроме помощи переселенцам, необходимой им здесь, в Тюмени, на билеты, на харчи, на покупку телеги, – помощь эта не сегодня-завтра потребует и с места нового населения. «Ваше благородие! лошадь околела, нет способов!», «Ваше благородие... Есть нечего. Хлеба нету...» И на эту помощь необходимо сберечь частицу ассигнованных министерством сумм. Но «помощь постоянная требуется и во множестве других случайностей» жизни переселенца.

– Ваше благородие! У меня деньги пропали! Явите божескую милость.

Деньги пропали у ходока, деньги мирские; нет возможности ни воротиться, ни идти вперед. Надобно искать их, хлопотать, ехать к начальству и в случае неудачи выручать, переписываться.

Точно так же исследуется даже и тот запутанный документ, удостоверенный «родным сыном Федором», о котором была речь выше. И это подлинная просьба, хотя и не на большом листе и хотя нацарапана в самом бессмысленном виде. Человек, который вытащил из-за пазухи этот лоскуток, подписанный его сыном, как единственное свое право на участие к нему начальства, может быть уверен, что именно этот-то безграмотный лоскут и есть действительное его право на внимание и попечение о нем. Это я также видел своими глазами.

– У тебя есть какой-нибудь документ?

– Как же, есть-с!

– Ну-ка, покажи.

Из-за пазухи, и затем из тряпки, выматывается тот самый лоскут, о котором была речь.

– Да это не документ.

– А как же не документ-то? Ведь пять годов неурожай был? Помилуйте! Из-за чего же мне платить-то? Тут вполне удостоверено.

– Если бы хотя начальство подписало, а то ведь сын... твой...

– Так я и начальникам показывал. «Удостоверено, говорят, по безграмотству, правильно...» Пять годов неурожаю. Явите божескую милость!

Непонимание, неумение даже понять начальнического вопроса, все это еще недавно обрекало нищего пешехода на полное невнимание. Что с ним делать? В самом лучшем случае можно было сжалиться, дать гривенник и сказать: «не взыщи!»

Ни тени подобного отношения к переселенческой нужде в настоящее время уж нет во всем том, что я, к великому удовольствию, видел здесь в первый же день.

VI. В переселенческих бараках

Жизнь переселенческого барака начинается с раннего утра. Уральский поезд приходит в Тюмень в 5 часов утра с минутами, и переселенцы (приезжающие непременно с каждым поездом), забирая свои пожитки, плетутся прямо в переселенческий барак. Мирской толк «калякает», что иногда Уральская дорога поступает с бедным народом слишком формально. Иной раз большая переселенческая семья не в силах бывает сразу перетащить с вокзала свои вещи, а нанять извозчика не на что; зная, что через день, через два ей, этой семье, выдадут пособие на покупку лошади и что тогда можно будет уже на ней съездить и получить вещи, переселенцы оставляют эти вещи на день, на два невзятыми из багажа, и всякий раз дорога не упускает случая взять с них за «полежалое», что весьма значительно увеличивает стоимость перевозки. Между тем и сама дорога иногда ставит переселенцев в затруднение, а убытков, которые они от этого несут, на себя не принимает. Однажды она набила товарный вагон тюками с табаком и переселенческими мешками с сухарями; соседство это пришлось мужикам не по вкусу, просьба о разгрузке была уважена, но вот как: вагон с табаком и сухарями отцепили, оставили его на какой-то станции или полустанке, а поезд ушел в свое время далее. Покуда перегрузили вагон и доставили сухари в Тюмень, ушел пароход, и переселенцы должны были напрасно харчиться целые четверо суток. Впрочем, при мне же был случай, что и Уральская дорога бесплатно перевезла несколько полтавских переселенцев, не взяв с них ничего ни за проезд, ни за багаж. Сделалось это, как говорят, благодаря участию пермского губернатора. Хорошо это, конечно, но надобно бы вообще относительно переселенцев выработать какой-нибудь определенный и непременно самый снисходительный образ действий. Уральскую дорогу переселенцы не хвалят. Пароходчиков по Каме и Волге одобряют (2 р. от Нижнего до Перми и даже до 1 р.). Хвалят и одобряют Нижегородскую дорогу (ничего не берет за багаж), одобряют вообще Москву («Дня не ждали! Сейчас с вокзала на вокзал переправили!»), а вот Курскую опять не одобряют, ни в чем не послабляет бедным людям. От Тюмени до Томска берут в 3-м классе парохода вместо 6 рублей 5 рублей 10 копеек и за багаж по 50 коп. пуд². С детей как на пароходах, так и на железных дорогах также, смотря по возрасту, берут и за полбилета и за 3/4. Берут плату с четырехлетнего возраста. Недавно, впрочем, в Тюмени появился новый предприниматель, некто Функе. Выстроив на заводе г. Игнатова два парохода, он устроил специально переселенческие рейсы. Перед самым моим приездом ушел в Томск и Барнаул один из таких пароходов, вместивший более тысячи человек. Плату г. Функе назначил очень низкую – 5 руб. не до Томска, а до самого Барнаула, и надо думать, что предприниматель не останется в убытке.

Переселенческие бараки, куда направляются переселенцы прямо с вокзала, лежат за городом, на высоком берегу Туры, в небольшом от нее расстоянии, в просторном, со всех сторон открытом месте. Бараки расположены большим четырехугольником, причем три стороны пока только забор, а четвертая, обращенная к реке, застроена жилыми помещениями. По углам левой, от входных ворот, стороны выстроены большие кухни, а между кухнями большой барак, разделенный на четыре отделения. Каждое отделение просторно, с тремя большими окнами, перерезанными широкими нарами, идущими вокруг стен. Воздуху много, потолков нет и в крыше сделаны приспособления для вентиляции. Человек сто смело могут поселиться в каждом из этих отделений и тут же поместить свои вещи; но в нынешнем году бывали дни, когда в бараках скапливалось более полуторы тысячи переселенцев, вследствие чего в дождливое время теснота в бараках бывала необыкновенная. Общество, устроившее бараки, говорят, будет строить в будущем году еще такой же новый барак, причем во всех бараках, как в

² 50 коп. брали за пуд «багажа», а багаж этот главным образом сухари. Пуд муки стоит 60 к.; сосчитав все эти тарифы – во сколько обойдется пуд сухарей от Курска до Томска?

старых, так и в новом, будут сделаны печи; в прошлом году переселенцы шли и в декабре, а с февраля, когда еще зима везде на Руси стоит настоящая, переселение уже начинает принимать значительные размеры. Там же, на переселенческом дворе, помещается и флигелек с аптекой, с комнатой для больных и с конторой, где записываются все прибывшие переселенцы. Все это может быть сделано и лучше и просторнее. Некоторые нетерпеливые, лихорадочно стремящиеся поскорее, не теряя ни минуты времени, попасть на новые места, тотчас же по приезде *бегут* к заведующему переселенческим делом чиновнику П. П. Архипову и теребят его своими требованиями. Таким образом, дело начинается с раннего утра, и дело самое хлопотливое. Каждого переселенца нужно подробно расспросить о его положении и средствах и сделать так, как ему будет лучше и удобнее. Вот этот нетерпеливый человек с огромной, в девять человек, семьей умоляет отправить его на пароходе; ему не под силу ждать; он в сильнейшем нервном расстройстве. Он до того спешит, до того «не примаёт» во внимание никаких резонов, что односельчане, которые идут с ним, приходят просить заведующее переселенческим делом лицо уговорить этого нетерпеливого погодить *только* день.

– Все бы уж уместях! Как же так бросать-то своих? Куда же мы одни-то?

– А мне чего ждать-то? чего мне годить?

– Да дай хоть рассудить-то! Погоди!

– Рассуждай не рассуждай, идтить надо! Мне ждать не подходит. Отпустите, ваше высокоблагородие, сделайте божескую милость!

– Остановите его, ваше сиятельство! Как же мы-то? Уж уместях бы.

Это несогласие требует продолжительных толков и внимания к малейшим мелочам жизни этих людей. Часа два битых нужно доказывать выгоду того-то и невыгоду этого, урезонивать, усовещивать. В конце концов всегда оказывается, что обе стороны приходят к такому решению, которое выгодно для них обеих. Высчитывается, что ехать нетерпеливому человеку на пароходе невыгодно, приводится цифра платы за билет, за багаж и расходы на продовольствие. Доказывается, что, доехав до такого-то места на пароходе, далее необходимо ехать сухим путем и, следовательно, покупать лошадь. На покупку надобно просить ссуду и, следовательно, резоннее всего не спешить, купить лошадь и ехать всей партией на лошадях до места.

Но и на этом резонном соглашении дело не оканчивается. Положим, что переселенцы убедились, наконец, ехать на лошадях, – надобно похлопотать еще и о покупке этих лошадей, позаботиться, чтобы не пропали деньги даром, чтобы барышники не надули. Любопытное дело: в прошлом году прошли через Тюмень внутрь страны более восьми тысяч человек, которым необходимы были лошади. Полагая по одной лошади на десять душ, вот уже восемьсот голов; кажется, количество весьма почтенное для любого предпринимателя, занимающегося «лошадиной частью»? Между тем все эти лошади покупаются у местных жителей, изнуренные, искалеченные, в большинстве совершенно негодные к работе, еле способные дотащить ноги до места, да и то еще слава богу, если дотащат. Никто из промышленников не попытался здесь, на таком большом деле, даже и денег-то нажить с расчетом. Наживает деньги плут, надуватель, и наживает огромные деньги. С нетерпеливого мужика он дерет втридорога; 15 рублей цена молодой лошади, а барышник берет с переселенца за клячу 35 и 40 р. Нетерпение попасть скорее на место, не сидеть праздно, ехать – делает то, что и практический мужик постоянно попадает в просак при покупке лошадей у барышников; бывают случаи, и очень частые, что барышники продают *пьяных* лошадей. Накатит ее водкой, доведет до самого азартного настроения духа; нетерпеливый мужик не рассмотрит, отхватит ее «обем рукам» и, тотчас же отправившись в путь, скоро видит, что его надули, лошадь ослабла, еле передвигает ноги. Чтобы избежать таких случаев и не задерживать человека на пути, не запутывать его новыми пособиями (ведь их надобно возвращать), надобно и лошадь-то видеть собственными глазами, и с продавцом переговорить, – не плутует ли? – и знатоков спросить, и тогда уже выдавать пособие

на ее покупку. В большинстве случаев приходится, однакоже, при всей осторожности в этих покупках, приобретать товар весьма дурного качества.

Не всегда, однакож, урезонивается нетерпеливый человек. Я видел одного из таких нетерпеливых. Сговорившись не оставлять своих «курских» и ехать на лошадях, он, по счастью, в тот же день уже купил и лошадь и телегу. Нетерпение снова овладело им в еще большей степени, чем прежде. Едва он приехал с лошадью и телегой в барак, как тотчас же принялся таскать в телегу вещи. Валил он их как попало, один узел на другой, торопился и был весь мокрый от пота.

– Ребят-то куда ж посадишь?

– Эво, колько места ребятам!

– Да ведь на них свалится этот мешок-то! И этот!

– Авось нет!..

– Да постой, постой! – урезонивал его старый гвардеец-сторож (к несчастью, однако, «убивец», хоть и неосторожный), – не спеша ты, не суетись! Ты подумай, как ты ребят по жаре повезешь? Видишь, как палит? Ведь они огнем сгорят...

– Авось ничего... рядом... у баб есть!..

– У баб, у баб! Чего ж ты рядом их будешь кутать, и так жарко... Поди вон наруби хворостины, видишь вон у берега?

– Эво чего!

– Да ты не дури, бестолковый человек! Сделай кибиточку, накрой рядом-то... Долго ли сбегать нарубить? Чего ты как угорелый суешься? Надо толком справиться, дорога дальняя...

– Справим и дорогой!

Так и не урезонили нетерпеливого, уехал, не подождав своих, даже ни на кого не оглянулся.

Бывали и не такие еще случаи нетерпения добраться до места. Рассказывают, что такие нетерпеливые просто-напросто бросали в поле больных своих товарищей и даже близких родственников, а сами уезжали далее.

Нервное возбуждение, как следствие коренного переворота в жизни, играет в переселенческом движении не последнюю роль, особенно между женщинами. Переселенцы, неожиданно возвращающиеся на родину, не дойдя еще до назначенного им места и, стало быть, даже не попробовав жить на новых местах, в большинстве случаев делают это под влиянием нервного расстройства своих жен. Оторванная от всех привычных связей, родственных, соседских, оторванная от всех мелочей трудового дня, которые наполняли всю жизнь, лишенная в этой долгой, длинной дороге возможности жить всем тем, чем жилось и без чего все окружающее начинает только пугать неизвестностью и тайной, – нервная женщина впадает в припадок какого-то безотчетного испуга, страха; ничего не видит, не знает, не чувствует, кроме того, что оставлено дома, и той жизни, какая была там. В таком безотчетном ужасе она иной раз просто соскакивает с телеги, бросает детей и бежит, сама не зная куда, полагая, что домой, а за ней, в паническом страхе, бегут и мужики.

Как рассказывают, с женщинами бывали и другие, более потрясающие случаи. Одну такую женщину постоянно связывали веревками всякий раз, как она выходила из вагона или парохода. На переселенческой станции в Тюмени ее неустанно караулили, так как она только и думала о том, чтобы убежать домой. Рассказывали даже, что упорство ее не идти в Сибирь было так велико и непоколебимо, что когда на родине пришлось, наконец, двинуться из родной деревни в дальний путь, ее, бунтующую, должны были приковать к телеге. Рассказывают еще про одну девушку, которую родители отдали замуж, утаив от нее то обстоятельство, что семья, в которую она вошла, не дальше как через месяц уйдет в переселение. Не раскрыли ей тайны ни муж, ни мужнина родня. Неожданность была для нее так велика, что она сразу как бы помутилась умом, таяла, как воск, и постоянно заливалась слезами.

Вообще переселяющиеся женщины возбуждают иногда глубокое огорчение за их положение и участь. Вот идут на переселение молодой мужик, баба и трое ребят. Они переселяются форменным порядком; у них есть и увольнение от общества, и бумага, в которой точно обозначен пункт, на котором они поселяются. Они ходили, истратив все до копейки, и оставляли на родине старуху, мать бабы, с двумя ее внучатами от другой дочери, вдовы, также умершей, мальчиками двенадцати и девяти лет. На переселение матери, жены мужика, не было уже никаких средств; о ее переселении не хлопотали и не писали; не значится она в числе уволенных из общества, ни в числе причисленных к какому-нибудь переселенческому участку. Она решила остаться дома, на старом месте, пока ее дочь и ее муж справятся на новом.

Но чем ближе подходил день разлуки с дочерью и зятем, тем жизнь старухи становилась мучительнее. Как она справится одна и на старости лет? Положим, что мальчик в двенадцать лет по теперешним порядкам – работник, и будет законтрактован, и деньги даст своим трудом, но ведь с отъездом дочери и внучат у нее оторвется от сердца все дорогое. И старуха не выдержала. Без всяких разрешений и бумаг собрала она что у нее было, последние остатки имущества, и, забрав своих мальчонков, уехала с дочерью и зятем в Сибирь. Не могла она расстаться с ними. Когда я увидел эту семью, отношения между семьей дочери и старухи были такие: она не отставала от дочери и зятя, не теряла их из своих глаз ни на минуту, но держалась как чужая, то есть не давала дочери малейшей возможности думать, что она сядет на ее шею. Зять же и дочь, так неожиданно испуганные выдумкой своей старухи и одолеваемые страхом трудности предстоящей жизни, также как бы не замечали своей матери, а может быть боялись расчувствоваться. Всю дорогу старуха сама вымаливала себе уступки в проездной плате, просила христовым именем и ни на шаг от своей семьи не отставала. Здесь же, в Тюмени, дело ее приняло крутой оборот, настала решительная минута: дочь и зять могут получить пособие (у них все по форме), а у нее нет ни денег, ни лоскута бумаги. Дочь может уехать, и тогда что же будет с ней?

Часу в седьмом вечера идет переспрос всех прибывших переселенцев и проверка их видов и бумаг. Дочери и сыну объявлено было приходить завтра за деньгами на покупку лошади. Когда шел об этом разговор, старуха со своими внучатами стояла в стороне; когда кончился разговор, дочь и сын поклонились и ушли с своими ребятами, не смея сказать чего-нибудь о старухе. Тогда старуха вышла сама с двумя мальчиками.

– Как тебя, и откуда? – перелистывая список, спросили ее.

– Да меня, батюшка, нету в бумагах! Я без спросу ушла...

– Куда же ты идешь?

– Да я бы с дочкой хотела в одном месте жить, с зятем. Не дай ты мне отстать от них.

Помоги мне, отец родной!

– Так есть у тебя зять, ты с ним и иди!

– Нет! Не возьмут они меня! Им самим не вмоготу... Им взять нельзя меня! А ты помоги мне, тогда я пристану к ним, не расстанусь!

Вот положение, не предусмотренное никакими существующими правилами о переселениях. Ушла сама без бумаг, добралась до Тюмени, идет куда-то, не имея определенного пункта для поселения, идет, побуждаемая только жалостливым сердцем, не смея и думать о том, чтобы отягчить собою трудное положение дочери.

– Помоги мне! Пусти с ними вместе... Помоги! Помоги, батюшка! Тогда они и сами меня возьмут!

Дело было понято и сделано так, что на следующее утро благодарить за него пришел уже старухин зять, для чего не поленился нарочно пойти в город.

– Благодарим покорно, васскобродие! Берем старуху нашу. Пишите ее к нашей семье, и с внучатами с ейными... Слава богу! И пускай уж все уместях!

А вот уж и совсем беспомощная женщина. Вдова с пятью детьми, из которых старшему десять лет. У нее была там, на родине, одна мужицкая, то есть платежная душа, и, следовательно, она имела «надел», и она поэтому переселяется по всей форме: и в списке значится и бумагу имеет, но она нищая буквально; кроме того, она больная, у нее все лицо покрыто какой-то густой, малинового цвета сыпью; она плохо видит больными глазами. Поистине страшно было смотреть на эту обремененную детьми, одинокую женщину. И какие славные были у нее ребята!

– Где же твои дети?

– А вон старший-то! Ваня! Подь сюда!

Старший мальчик, весь оборванный и босой, покраснел, как девушка: так ему совестно было выделяться из толпы и предстать в своем нищенском виде. Да! мальчик этот был и нежен, и симпатичен, и глаза у него прекрасные, словом, он был ничуть не хуже чем наш с вами, любезный читатель, родной сын, этот милый гимназистик, – только вон он не ел целый день, раздет чуть не донага, нет на его голове шапки, а на ногах сапог. А то он совершенно такой же милый мальчик, как и наш родной и любимый сын!

Немало и личной тревоги возникает на душе постороннего посетителя тюменских барачков, когда он хоть немного освоится с интересами толпы, наполняющей переселенческий двор. Здесь отношения его к крестьянину принимают совершенно иной характер и смысл, чем это было при обыденных отношениях барина к мужику. Никогда он не слышал от него такого простого слова о его нужде и никогда не имел случая так просто, как здесь, расспрашивать его о его желаниях. В нашей обыденной жизни нет таких минут, которые бы мы могли исключительно посвятить вниманию к народной нужде, и видели бы, что разговор о помощи и о нужде не просто разговор, а действительная помощь, не пустое слово, а самое настоящее дело. И получаса таких разговоров совершенно достаточно для того, чтобы исчезла всякая возможность видеть хотя малейшую разницу в желаниях человека, так сказать, культурного, и желаниях и нравственных потребностях этого разутого мужика, окруженного кучей разутых ребят. Здесь (именно здесь и нигде больше) такой разутый человек, мужик, не пришел к «барину» наниматься, не продает барину дрова или поросенка, здесь барин не нанимает его за двугривенный принести то-то или отнести, наколоть дров или запрячь лошадь; здесь он находится просто в положении человека, исключительно заинтересованного делом общечеловеческим, и пред ним не мужик, не извозчик, не нищий, не ломовик, а точь-в-точь такой же человек, как и он сам, только барин обут, одет и сыт, а мужик голоден, бос и наг. Но в разговорах барина и мужика друг с другом оказывается, что оба они одинаково пекутся о детях, одинаково озабочены их судьбою, одинаково желают им счастья, одинаково мучаются об их темном будущем, печалются о семействе, о старухе матери. Оказывается, что оба они дорожат собственной совестью, честью, хотят жить «порядочно», чисто, словом, что они именно *родные братья*, никогда не встречающиеся в жизни при таких бескорыстных условиях, как здесь, на этом дворе тюменских бараков. Часто ли удавалось культурному человеку без всякой корыстной цели или без всякой личной надобности, но по простому указанию человеческой совести, приходиться к простому бедному мужику и говорить ему:

– Тебе надобно помочь. Тебе трудно. Тебе надобно земли, лошадь; тебе нужно кормить-поить детей. На-ко, возьми эти деньги.

Никто из нас никогда этого не видал, а стало быть, и не знает, что значит видеть в этом босом человеке, в его босых детях, в изнуренной жене – наших родных братьев, точь-в-точь таких же, как наши, – детей, и точь-в-точь таких, как наши, – жен.

В обыкновенных наших отношениях никогда не придется нам испытать, ничего подобного; никогда как братья, как люди с совершенно одинаковыми печальями жизни, мы не сходились так близко друг с другом и никогда не ощущали такой неправды в разнице положения.

И вот почему до сей минуты не приходит желания «набросать» какую-нибудь «жанровую картинку», чтобы хоть немного повеселить читателя.

VII. Река-пустыня. – Переселенцы в Томске

Под вечер жаркого июльского дня, после восьмидневного почти непрерывного движения по реке Оби, пароход компании Игнатова, наконец, бежал уже по р. Томи, приближаясь к г. Томску.

Река Томь была действительно «река», то есть были у нее ясно видимые берега, и притом берега живописные, и виднелись по этим берегам кое-какие строения, в которых, очевидно, жили живые люди; все это говорило, что бесконечная водяная пустыня Оби, без берегов и почти без признаков человеческого жилья, окончилась, что начинаются «жилые места», что скоро можно быть опять среди людей, которые «живут», а не только «едут», и думают и говорят лишь о том, что «много ли, мол, проехали?» да «скоро ли приедем?»

Всем истомленным впечатлениями пустынной реки пассажирам парохода нетерпеливо желалось поскорее очутиться в городе, в суете, в движении привычной городской жизни. Нетерпеливее и взволнованнее всех были, конечно, переселенцы, для известного числа которых в Томске должны были окончиться их скитальчества, так как участки, нарезанные им для поселения, находились от этого города сравнительно уже в недалеком расстоянии. Но и всякий иной проезжающий, купец, чиновник, ученый или просто турист-путешественник, не могли не ощущать удовольствия вновь попасть в обычную колею жизни, от которой оторвало их восьмидневное пребывание на этой пустынной реке.

Иногда кажется, что река Обь вовсе даже и не река: затоплено водою необозримое пространство леса. Из воды торчат верхушки деревьев, потопленных, вероятно, дремучих лесов, потопленных как будто бы парков, групп деревьев, одиноких деревьев, кустов. Кое-где видна крыша потопленного рыбацкогодомишки. По временам, в два дня раз, видится церковка, также как бы стоящая на воде. В два дня раз пароход, идущий между этими верхушками затопленных лесов, древесных групп и одиноких деревьев, пристаёт к берегу, причем место причала всегда носит какое-нибудь географическое название, напр<имер> Сургут, Нарым, но на берегу нет и не видно ни Сургута, ни Нарыма, а лежат только тьмы-тем дров, заготовленных для парохода, стоит остяцкая юрта из березовой коры, да неподалеку от нее какая-то пустая хибарка с почтовым ящиком у запертой двери. В Нарыме, впрочем, на берегу выстроена церковь и есть лавка, да и город сравнительно недалеко; во всех же других пристанях, имеющих на картах каждая особенное наименование, ничего нет, кроме дров да штук пять торговых, неведомо откуда взявшихся с булками, молоком, рыбой, ягодами, а затем опять вода, потопляющая леса, вода и вода целых двое суток, чтобы два часа иметь удовольствие видеть землю.

Действительно, первое время непривычно чувствуешь себя среди этой пустыни, но в конце концов выходит как-то так, что не можешь не быть благодарным судьбе именно за то, что она дала возможность «окончательно» прервать всякую связь с изнурительными впечатлениями действительности, дала возможность на целые восемь дней отстранить себя от всяких «злоб дня» и тем успокоила измаявшиеся нервы.

Чего стоит удовольствие сознавать хотя бы только то, что в географических картах река эта значит не в том полушарии, где живут господа Бисмарки³ и другие великие люди, и где огромный кулак, образующийся из дружественного рукопожатия трех монархов, германского, итальянского и австрийского, именуется эмблемой мира и всеобщего благополучия. Нет! Пароход Игнатова везет вас совсем в противоположную сторону от этого кулачища: впереди вас не Пруссия, не германская граница, то есть не загородь от дружественного союза, из которой уже

³ *Бисмарк*, Отто, князь (1815–1898) – государственный деятель Пруссии, с 1871 года рейхсканцлер Германской империи. Политика Бисмарка была глубоко враждебна России, в которой он видел главное препятствие для первенства Германии среди европейских государств. В 1879 году Бисмарк заключил военный союз с Австро-Венгрией, в 1882 году к нему присоединилась Италия. Был образован Тройственный Союз, направленный против Франции и России.

высовываются сверкающие кончики штыков, а бесконечная тайга, обширность, тьма и духота которой не дают вашей мысли даже и тени возможности предположить в ней что-либо подобное дружественному против вас союзу. За тайгой рисуются страны, обитаемые народами мало ведомыми – китайцы, японцы. Дальше океан, а за океаном Америка, страна без Бисмарка и Буланже⁴. Канцлер и три дружественные фигуры, заслоненные собственным триединым кулаком, уходят от вас куда-то назад, затуманиваются и, наконец, совершенно исчезают, забываются; тяжелое бремя тяжелых мыслей покидает вас, и освобожденному хоть на время сознанию есть свободные минуты отдохнуть и побыть спокойным.

Иной раз и сама жизнь этих пустынных тайговых мест какою-нибудь неожиданностью отбрасывает вас от современности на такие непомерные расстояния, что потом и дороги-то к этой современности долгое время отыскать не можешь.

В Тобольске пришлось мне ждать тюменского запоздавшего парохода более шестнадцати часов.

Все это время я провел на пароходной пристани, где для проезжающих устроена комната. Три деревянных дивана и два деревянных стола, выкрашенные красной масляной краской, – вот убранство этой каморки. Компаньонами моими в ожидании парохода были какие-то сургутские торговцы, люди мещанского типа и костюма. В Тобольске закупили они всякого товару и всего понемногу: керосину, чаю, сахару. И ничем бы они не привлекли моего внимания, если бы не следующий тайговый эпизод.

В ожидании парохода один из этих торговцев спал, другой «лечился» какой-то настойкой от живота: выпьет рюмку этой настойки и некоторое время сидит, открыв рот и охая, так эта настойка жжет ему все нутро, а потом и ляжет в изнеможении. Третий, младший, продолжал бегать на базар, который был близко, и покупал там, что могло бы пригодиться в Сургуте. Раз притащил ковер в два рубля, другой раз женское платье, шелковое, истрепанное, но отличнейшей работы. Платье это, вероятно, много перевидало на своем веку, пройдя от Парижа до тобольского базара, где какая-нибудь несчастная арфистка, оставшись без куска хлеба, сбыла его торговке за полтинник и дала этой торговке возможность нажать рубль. Сургутский мещанин тщательно рассмотрел это платье во всех отношениях и нашел, что оно пригодится его дочери, еще только двенадцатилетней девушке, чем и засвидетельствовал о размерах роста двенадцатилетних тайговых девиц.

Скоро возвратился он с новой покупкой; он принес трех живых стерлядок, купленных тут же у парохода с лодки.

– Пора уж и закусить! – говорил он, положив этих стерлядок на стол. – Хлеб есть, соли надо попросить!

Пока он ходил за солью, стерлядки прыгали по столу и как бы стремились уйти.

– погоди, чего прыгаешь-то? – с солонкой в руках входя в комнату, говорил мещанин и подхватил готовую упасть на пол стерлядь. – Чего трясешься-то? Озябла? Вот я тебя сейчас погрею в теплом месте!

Он принялся будить сонного товарища и приглашал больного принять участие в завтраке.

– Поднимайся! Давай настойки по рюмочке... Вишь какая свежина!

– Почему? – спросил больной.

⁴ *Буланже*, Жорж-Эрнест (1837–1891) – французский генерал, в 1886–1887 годах военный министр, добившийся установления во Франции военной диктатуры, используя недовольство реакционной политикой буржуазных республиканцев со стороны мелкой и средней буржуазии. В 1889 году Буланже был избран в палату депутатов, но его тайные связи с монархистами оказались разоблаченными, он был лишен депутатской неприкосновенности и бежал в Бельгию, где покончил с собой в 1891 году. Для Успенского Буланже олицетворял тип авантюриста, появившегося в обстановке политического кризиса, фигуру, типичную для капиталистического мира, где «господин Купон» угнетает и грабит трудящихся.

– Две копейки за тройку... Вставай. Разговаривая так, он вынул из кармана брюк ножик, раскрыл его и... разрезал рыбе брюхо! Затем он вырвал внутренности, вынес рыбу, чтобы ее вымыть, и когда принес назад, рыба, хоть и зарезанная, обнаруживала еще признаки жизни.

– Сейчас, сейчас обогрею тебя, голубушка! Не торопись! Будешь в теплом месте!

Положив почти живую еще рыбу на одну руку, он другою зачерпнул соли и щедро посыпал ею рыбье тело. Она забилась.

– Постой, не дерись! Не будет обиды!

И затем он быстро отрезал часть стерляди у хвоста и стал ее есть.

– Как? – воскликнул я в изумлении. – Живую? Сырую?

– Очень просто!

Мещанин чмокал сырым мясом, чрезвычайно искусно снимая его зубами с оболочки рыбьей кожицы.

– Очень даже просто! Прямо едим живое мясо, кровушки тоже пососать очень приятно!..

Отхватив другой кусок от стерляди, в которой еще теплилась жизнь, он пососал этот кусочек, почмокал и опять искусно снял зубами сырое мясо с рыбьей кожицы.

Изумление мое при виде этого «живоеда» было, вероятно, до того велико и так явственно сказалось в тоне моего голоса, которым я произнес мой вопрос, что и другие живоеды, находившиеся в комнате, заинтересовались моим, очевидно, необыкновенным положением ошеломленного зрителя. Они с улыбкой смотрели на меня и говорили:

– Как же? Живьем едим! Сырем... Ничего! А зимой и мясо сырое тоже едим... мерзлое, ничего! Нам это надо, нельзя нам иначе, такая наша жизнь!

А затем пошли разговоры и об этой самой жизни, из которых оказалось, что по местным условиям живоедство есть даже необходимость. Но хотя невероятное зрелище и получило, наконец, некоторое объяснение, все-таки впечатление получилось в высшей степени необычайное. Почти мгновенно я был перенесен мыслью в царство и времена ихтиозавров и летучих ящеров и потерял всякую возможность, по крайней мере в скором времени, каким-либо родом добраться до понимания и ощущения самого себя в современных условиях жизни.

* * *

Совершенно иного рода впечатления испытывали переселенцы, всю дорогу поглощенные нетерпеливым желанием поскорее доехать «до места», до земли и до нового местожительства, и чем ближе пароход подходил к Томску, тем сильнее возрастало в них нетерпение. Томск для большинства переселенцев имеет роковое значение; здесь оканчивается дальняя дорога и предстоит только небольшой переезд до участка, отведенного переселенцу, и вместе с тем предстоит начало новой жизни, начало нового хозяйства на новой земле.

Истратив на переезд до Томска все средства как собственные, так и выданные в помощь от казны и от благотворительного комитета, множество переселенцев с полной уверенностью и без малейшего сомнения надеются, что в Томске-то именно и будет им дано настоящее пособие, не в пять и не в десять рублей, а много побольше, так как на обустройство и начало хозяйства много надо денег. Десять, даже тридцать рублей пособия – это едва только хватило на прокормление семьи и лошади или на харчи при переезде на пароходе; здесь, отправляясь на новые места, нужно иметь денег на всякую малость.

Но именно в Томске-то и ожидает этих мечтателей полнейшее разочарование. В 1888 году в Томске не было и благотворительного общества⁵, и все пособия шли единственно от

⁵ В настоящее время уже есть благотворительные общества и в Томске и в Иркутске. Последнее оказывает переселенцам небывало щедрую помощь. В три дня, с 23 по 26 июля, через Иркутск прошло 46 семей переселенцев, в количестве 276 душ, включая детей; в пособие им благотворительное общество выдало 2366 р.

г. Чарушина, бывшего тогда заведующим переселенческой станции. Г. Чарушин находился поэтому в том же беспомощном положении, как и сами переселенцы.

Имея в своем распоряжении не больше пяти-шести тысяч, он не в силах выдавать на семью более пяти рублей, круглым счетом, причем и из этих-то денег должен был уделять немалую часть – на ремонт барakov, не имеющих ни малейшего подобия с бараками тюменскими.

Переселенческие бараки выстроены в Томске второпях и попыхах. При начале переселенческого движения какой-то предприниматель, вздумав нажить на этом деле «деньгу», набил свой пароход переселенцами битком, препятствовал им покупать на пристанях харчи, поставил их в необходимость брать все съестное у него же на пароходе по ценам, невозможным для переселенцев. Результатом этих корыстолюбивых планов было то, что пароход привез к Томску озлобленную и ожесточенную толпу, полуголодную, почти разорившуюся и привезшую с собою несколько трупов как взрослых, так и детей. Томское общество, под живым впечатлением испуга пред неожиданным появлением в городе такой массы недовольного, измученного и голодного люда, поспешило кое-как устроить для него помещение и кое-чем ему помочь. Помещение, таким образом, могло быть устроено только наскоро, причем сделано, конечно, невольно множество недосмотров. Станция выстроена на низменном, болотистом месте; каждую весну оно все затопляется водою, так что теперешние бараки заливаются чуть не до потолка, – по крайней мере двери заливаются доверху. Самые бараки сколочены из толстых досок и притом кое-как. При таких условиях никакие ремонты не поправят дела, хотя постройки, сделанные г. Чарушиным (баня, забор), не имеют с прежними постройками «кое-как» никакого сравнения. Сырость, неуютность, долго не просыхающие лужи на неровной, изрытой местности двора, все это требует расходов для очистки и осушки и все-таки не приводит ни к каким видимым результатам, кроме видимого потрясения переселенцев, когда пятирублевкой, выданной г. Чарушиным, окончательно разрушаются все фантазии о начале новой жизни и окончательно делается ясным, что ни о какой иной помощи не может быть более и речи.

– Что ж это такое? – весь ослабевший от голода, усталости, а главное от испуга перед будущим, бледными губами лепечет иной мечтатель-переселенец, держа в дрожащей руке пятирублевку.

Он стоит как бы в столбняке.

– Это вы, очень просто, хотите нас, бедных людей, со света извести! Просторней будет! Очень это просто теперь оказывается нам!

Стоит только бросить эту мысль в толпу переселенцев, окружающую пораженного пятирублевкой бедняка, чтобы мысль эта тотчас же получила полное доверие толпы.

– Верно! верно, – слышится среди нее. – Кабы нас, бедняков, разорить вконец не хотели, *так богатых бы, а не бедных, на пересел-то заманивали!* Богачей надо бы переселять-то! у богатого есть деньги и всё есть! Сам может справиться на новом-то месте. А нашего брата подманивают богатеи только для подвоха. Только бы нас с места увести, а там подыхай, наплевать!

– Да и есть один чистый обман! Ежели бы не было подвоха, так нас всех бы надобно по этапу препроводить! Вот как надо-то, ежели бы по совести с нашим братом поступали!⁶ По этапам едут на сменных лошадях, везде на ночлегах приют, пища и баня... Конокрадов и воров этаким-то манером предоставляют, а привезут на место, сейчас ему должны и земли порезать! Почему же мы-то должны христарадничать? Ни крова, ни хлеба, ни приюта! Дрожишь по ночам голодный, с малыми ребятами, в поле...

Вина падает, конечно, на «чиновника».

Глядя на эту несчастную пятирублевку, дрожащую в мозолистых руках взволнованного кровной обидой крестьянина, поистине не можешь надивиться, что на такое важнейшее дело не

⁶ Случай подобного рода рассказан ниже.

находится почти никаких средств. Переселенческое движение, принимающее с каждым годом все большие и большие размеры, есть дело государственной важности; оно тихо и мирно разрешает тысячи всяких неправд, отравляющих жизнь крестьянина; оно оживляет и оплодотворяет пустыни, дает место, труд и жизнь переросту народонаселения. Дело это жизненное, государственное. Каким же образом на правильную, серьезную постановку этого дела нехватает средств в нашем-то «обширном отечестве»?⁷

⁷ Много потерпевший от затруднений переселенческого дела, г. Чарушин пришел к мысли о необходимости учреждения «переселенческого банка», который может превратить скитальчество, голодовку и попрошайничество Христовым именем в плодотворную и трудовую жизнь. Всех владельческих земель в Европейской России, из которых могут быть делаемы покупки при помощи крестьянского банка, г. Чарушин насчитывает до 90 миллионов десятин. В то же время в одной только Томской губернии насчитывается земли до 70 миллионов десятин, из которых 20 милл. могут считаться вполне свободными и вполне удобными для новоселов. Затратив в Европейской России сумму примерно в 150 тыс. рублей, крестьянский банк может устроить около 400 семей, тогда как на ту же сумму в пределах только Томской губернии, по расчету г. Чарушина, может быть устроено более 700. Уже из одного того, что учреждение переселенческого банка оказывается неизбежным для лица, близко знающего переселенческое дело, можно видеть и понять, что такое значит эта несчастная «пятирублевка», стремящаяся отделиться от широкого и важного общественного дела.

VIII. Поездка к новоселам

Помимо разочарования в помощи и поддержке немало терпит переселенец и от того «плутоватого» человека, который во всех тех торговых местах, – от села до губ<ернского> города, – где есть базар, ухитряется влачить свое существование исключительно надувательством простодушного крестьянина. Здесь, в Сибири, плутоватый человек, предки которого большею частию не могут похвастаться хорошими фамильными преданиями, пользуется неопытностью крестьян-переселенцев с гораздо большею развязностью, чем на наших российских базарах. Обо всех затруднениях, переживаемых переселенцем от «плутоватого», пришлось услышать от одного из самых, повидимому, деятельных радетелей по делу именно утешения нашего пришлого крестьянина, который, как бы даже похваляясь, рассказал без всякого стеснения все свои плутни с переселенцами.

Ознакомившись с переселенческой станцией и побывав у г. Чарушина, по совету и указанию последнего, я и один мой приятель поехали посмотреть на житье-бытье новоселов, поселившихся в сорока верстах от г. Томска года два тому назад.

Взяли мы у «дружков» пару лошадей и тронулись в путь, и всю дорогу наш ямщик (оказавшийся из «плутоватых»), молодой, здоровенный парень, с каким-то ухарским удовольствием хвастался своими проделками относительно переселенцев.

Кстати здесь сказать: этот парень, при внимательном рассмотрении, оказался евреем, но чтобы узнать это, нужно было пробыть с ним очень долгое время, – сразу никак бы никто не догадался, что это еврей: ухарская развязность сибиряка, ленивая, чисто российская речь, все настоящие ямщицкие ухватки, все это было вполне неподходяще к тому, чтобы даже подзревать в нем что-либо не только еврейское, а хоть даже что-нибудь инородческое. Вообще надобно сказать, что евреев в Сибири множество, но все они обрусели почти до неузнаваемости. На всем протяжении пути от Томска через Омск на Тюмень самый богатый дом (иногда роскошный), самая богатая лавка непременно еврейские. Значительное число лиц, содержащих почтовые станции, евреи и еврейки. Обстановка их жилищ так отлично скопирована с жилища зажиточного сибиряка, что и в голову не придет сомнения относительно национальности обитателей этого жилья. Отсутствие в переднем углу образов довольно ловко заменяется другими аксессуарами жилья русского человека: портреты высоких особ, виды сражений и однообразные гравюры грубовато-немецкого юмористического содержания, словом, вся та живопись, которая выходит из одних и тех же коробов российских книгонош и коробейников. Взглянув на эту привычную для глаза живопись, проезжающий, сам дорисовывает воображением все, что должно быть в переднем углу (где и цветы к тому же есть бумажные), и не сомневаясь делает крестное знамение, и только тогда, когда, напившись чаю, уходит из комнаты и, по сибирскому обыкновению, непременно должен нагнуться в низких дверях, замечает на притолоке двери какую-то стеклянную трубочку, точно тонкий термометр, а в трубочке видна бумажка с еврейскими буквами. Тогда только ему сразу становится понятным, что он находился в еврейском доме, и только тогда, начиная всматриваться в лица хозяев, он замечает в них что-то не совсем русское. Вот такой-то трудно разгадываемый тип обруселого еврея и был наш возница, но все, что он рассказывал нам по части надувательства переселенцев, к сожалению, не есть особенность исключительно еврейского умения нажить денег даже на бедняке и нищем, ибо, как известно, надувательство не чуждо и нашим соотечественникам.

– Говорят, что сибиряки недовольны переселенцами, что они сердятся на них, зачем сюда идут, отбирают землю? – спросил ямщика кто-то из нас двоих, ехавших в тележке.

– Может, которые и сердятся, – лениво отвечал ямщик, – а для нас, томичей, как переселенцы покажутся, точно солнце засияет! Мы их очень почитаем...

– За что?

Помолчал ямщик и с сибирской развязностью и ленью в тоне голоса сказал:

– Глупы они! Вот это нам и приятно!

Наглость таких мнений ямщика совершенно терялась в той непринужденности его наглых мыслей, которые были в нем как бы врожденными.

– Будто уж они все такие дураки, как ты говоришь?

Ямщик улыбнулся, подумал и, обдумав свой ответ, повидимому, весьма тщательно, не спеша и с расстановкой каждого слова ответил:

– Они дураки по нашему, по сибирскому мнению... А так они, сами по себе – ничего! По-ихнему, по-российскому, они даже и не дураки... И работают хорошо!

– Хорошо работают?

– Д-да! Уж что касается работы, нечего и говорить! Мы так не умеем, да нам и не надо! Мы ленивые... Ну, а уж они так действительно работники! Так вот, кажется, и издыхает на работе. Мы к этому непривычны.

– А ведь вы, сибиряки, сильнее и крупнее наших мужиков?

– Мы действительно будем погромнее их. А что насчет силы, так, пожалуй, ваши-то лапотники и посильнее нашего брата.

– Будто! Вы такие верзилы?

– Верзилы мы точно что верзилы, а что развязны от легкой жизни в суставах, это тоже верно! Пробовали наши с вашими на базаре бороться, и все за вашими верх... Право! Маленький, худенький, голодный, холодный, а как возьмется да изловчится, глядь, и опрокинул нашего верзилу. Нет, по своей части они ничего, народ понятливый, ну, а уж по сибирской ни аза не смыслят!

– Ну, например?

– Да и не знаю, каких и примеров-то вам представить, так они глупы... Идет мужик по дороге, подходит к нашему обозу и говорит: «Что, ребята, не видали ли моей лошади? Каряя?..» Ну не дурак ли, позвольте вас спросить? Мы идем обозом в двадцать, тридцать подвод, и то у нас от воров объездной караулит, постоянно ездит особый человек вокруг обоза, смотрит в оба, чтобы не срезали места, не отмахнули лошадь с оглоблями. А этот разиня полагает, что вор пойдет с его лошадей по дороге! Кажется, должен бы глупый человек понять, что ведь нашему брату-сибиряку есть где спрятать его кобылу...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.